

— **П**онимаешь, Вань, ты все еще в постмодерне, а я уже в метамодерне. Ты не умеешь смотреть в будущее.

Он ее понял и переехал в Токио (как можно смотреть в будущее на постсоветском пространстве?). Просыпался каждый божий вечер, брал свою постгитару (Ваня слушал постпанк, построк и постхардкор, но сам был аполитичным постджаз-музыкантом) — и шел стритовать.

С переездом на Восток Ваня, разумеется, остался без друзей (японского не знал, а английский его был скверен) — нет, был, конечно, постдруг Витек — тоже русский, тоже гайдзин: читал постструктуралистов, баловался постгуманизмом, вел разговоры вроде «Мы живем в спектакле симулякров, епта» и «Да все это игра в бисер, ну», на что Ваня отвечал: «Дряхло мыслишь» и «Но свиной же среди нас нет» — и ухмылочно прикладывался к своему постдошираку (даже под угрозой расстрела он не рассказал бы, что такое метамодерн, но всей душой верил, что он уже там).

Рыжий с черным причесон (косил под японцев), майка с кругом на спине (из местного сэконда), красные протертые шорты, надменный лоб, аскетические скулы, самодовольная ухмылка, советская семиструнка в японском чехле — побрякивая заработанными тремя тысячами пострублей в кармане, Ваня шел в сторону Сибуи, там его ожидала постлюбовь.

Вокруг воняло Америкой и футуризмом. Велосипеды дзинькали, автомобили урчали, пешеходы с рыбьими лицами глядели пристально и косо, перекрестки стояли — Ваня этому не верил: ему все казалось, что он в какой-то коробке из-под обуви, освещаемый со всех сторон софитами. Борясь с постмодернисткой тоской, Ваня курил свою постсигарету.

Душная толпа, бесконечная прямь вылизанной улицы, потухшие деловые небоскребы (неживые), офисные мужики и офисные бабы отпросились у постбарина домой: бабы, зная, что им изменяют, — есть, спать, сидеть с детьми, смотреть телик; мужики, зная, что бабы все знают, — в отели для парочек или в бары, где можно за плату угостить настоящую женщину пивом. Реклама неоновыми гроздьями свисает там и сям, суля постпродажи.

По пути Ваня зашел в постмагазин за молоком. Кассирша проблеяла свое фальшивое «аригатокозаймооооооооооо», а Ваня достал из кармана карточку и потряс ей перед носом. Терминал плевался. Кассирша искренне недоумевала, в чем дело — водила карточкой и так и сяк, и даже вставляла. Ваня знал — денег недостаточно, и уже полез в карман за мелочью. Но кассирша ее не замечала и еще минуту возилась с картой. Она была в шоке.

— Чертовы япы, даже представить не могут, чтобы на карточке не хватало денег! — Ваня плевался постгречкой с молоком и сатанел. — Променяли бусидо на кэш.

— Это как посмотреть. Вот если б я тебе стабильную работу предложила — ты бы отказался?

Лера (его постлюбовь) сидела и пленяла своей восточной красотой (армянка): большие выпученные глазки, тонко проведенные черты, черно-кудрявые волосы, прозрачные, надкусанные губы. Голос у нее был детски-хрипл и как-то рассыпался.

— Конечно, отказался бы! — вскричал Ваня в ярости. — А то что — карабкаешься вверх по ступенькам — карьера, е-мое —

догрызаешься до вершины — а ты уже дед-пердед и на хрен тебе это не нужно. Тут только в лес самоубийц и ехать. Ни одного искреннего японца не видел! Духовности тут нет — вот что.

— Ну ладно тебе — духовность. Одному комфорт, другому идеалы — это нормально. — Она покрутила кудряшку, томно глядя в потолок.

— Но есть же святые вещи!

— Мне одно свято, тебе другое. Это все как посмотреть.

Ваня тщательно пережевывал постгречку и смотрел в зеленые глаза Леры — в них застыли луга, тундра, тайга, космос, Первобытный бульон... Ваня пережевывал постгречку и думал, как это можно с такими красивыми глазами сидеть в таком глухом пост-модерне?

— Вообще, я думал, вот приеду я... а в Японии ни одного человека нет. Потому что прозрели все — и ушли на хрен из мира. Думал, тут Восток, Бодхисаттвы — а та же мазня мышинная... — Ваня с жадным хлюпом допил молоко из миски.

— Они ж синтоисты в основном. Да и с чего им тебе, русаку, открываться? — Лера перехватила миску и пошла с ней к раковине. — Хочешь чай?

— Да, конечно! — сказал Ваня очень уверенно.

Дальше они лежали на диване, смотрели аниме и пили русский чай. Раз минут в десять Лера кротко (но как-то с издевкой) спрашивала: «Хочешь чай?», а Ваня бойко отвечал: «Да, конечно!» Они посмотрели десять серий «Стального алхимика» и выпили двадцать кружек чая. Ровно в одиннадцать вечера Ваня встал, в полторы минуты собрался и пошел домой.

Они обнялись в коридоре, Ваня взял постгитару и переступил порог. Лера смотрела на него из двери.

— Я тебя не люблю, — сказала она.

— Я тебя тоже, — сказал Ваня и улыбнулся. Лифт подоспел.

Ваня опять переходил Сибуйский перекресток. Это была огромная — с маленькую хоккейную коробку — зебра: стоять у бордюра приходилось по пять минут, но как только машины застывали и загорался зеленый, толпа схлестывалась: если прищуриться, то в многолюдии казалось, что здесь можно торговать байдой из электричек, играть на гитаре, знакомиться с людьми,

тусоваться, ставить палатку, по крайней мере, эти три минуты. Ваня весело шел по раскинувшейся зебре — в сторону вокзала и памятника Хачико — тут в плечо ему врезался японец с рыбьим лицом и треугольной улыбочкой. Ваня раскрыл глаза шире: конечно, это все неправда.

Он шел пешком по пост-Выхино, пост-Бибирево, пост-Черемушкам — Ваня любил гулять в постдень. Тихие улицы вели себя совсем по-другому, шаловливо изгибались, заводя то в тупик, то на железнодорожную переправу; то к постправославной церкувшке (похожей на церкви из американских фильмов), а то и на рисовое поле. Традиционные домики с выгибающейся черепицей и сигнализацией, иероглифы, шепчущие свое что-то непонятное, замысловатая вязь проводов и канавок, цветы, дикий стрекот цикад, редкие-редкие прохожие — умиротворенные и апатичные.

Показался канал (пост-Питер): фонари, весело визжа, разделась догола и пошли плескаться (все еще жарко). Ване было красиво, но упорно казалось, что все здесь игрушечное, все здесь ненастоящее. Он встал на мосту и достал постсигарету. Хотелось пить — он сделал несколько шагов до ближайшего автомата с газировками и чаем, чтобы купить какую-то хрень из личи, стал шарить по карманам... Кошелек не было. Ну и черт-то с ним! Вернулся на канал, снял постгитару с плеча, навалился на перила и закурил.

Токио... Постдрузья, постлюбовь, постработа, постжизнь... Казалось, что нет никакой Леры, нет никакого Вани, нет постсигареты с хитрой системой сжигания табака, нет никакого вечера — есть только эти купающиеся фонари и непроходящая тоска.

— Прошу простить, — раздалось по-русски. — Вот ваш кошелек. Я случайно украл. Это у меня бывает.

— Спасибо. — Ваня пожал плечами и сунул кошелек в карман. — А вы... вы откуда знаете, что я русский?

— У вас лицо нехитрое, искренность у него. Как бы вы маску дома забыли. А японец не забыл бы.

Справа от него, приятельски навалившись на перила, стоял японец в костюме, с распушенным галстуком и треугольной улыбкой. Ваня предложил свою постсигарету, но тот смутился

и отказался (он почему-то похлопал себя по шее — сначала слева, потом справа).

— Откуда вы знаете русский? — спросил Ваня.

— Моя старшая мать любила Достоевский.

Ваня сочувственно покачал головой.

— А вы, то есть, в маске сейчас? — усмехнулся он.

— Да, — ужасно серьезно ответил японец.

— А ничего маска.

— Да, хорошая сделана, неплохая. — Он улыбнулся треугольно. — Хотите, чтобы я снял?

Ваня снова пожал плечами:

— Ну. Можно.

Японец взялся большими пальцами где-то с краев челюсти и отлепил от себя кусок прозрачной кожи — склизкой, как водоросли: под маской оказался тот же японец с той же треугольной улыбкой, только поживее, помоложе и с более задорно-продажным голосом.

— Это мне на работа маска, — пояснил он, сворачивая свое другое лицо в трубочку и потряс им. — А эта — на улицы. — Он положил ее в карман.

Ваня стоял, забыв о том, чтобы курить, и дико подняв правую бровь (мысль у него билась: «И почему я не погиб в модерне?»). Он с ужасом и легкой тошнотой понимал, что сейчас перед ним стоит — постчеловек.

— И... сколько у вас таких? — спросил он скорее из приличия (а сам бросил взгляд на чехол, прикидывая, как бы отсюда, если что, свалить).

— Девятнадцать — как дней цветет сакура. Вы рыб не едите? — как-то снова серьезно поинтересовался японец.

— Да нет, не особо.

Тот вздохнул, достал литровую бутылку из вспученного кармана пиджака и основательно припил, запрокинув голову, не касаясь горлышка губами. Утерев рот, он спросил:

— Не пьете sake?

Хмыкнув, Ваня кивнул (мало ли что может стрястись в метамодерне?) — и они пошли по набережной. Сели на скамейке у какой-то не то урны, не то святилица: пили sake (винно-водочный

вкус Ваня так и не смог полюбить), обменивались пустыми фразами, пьянели, играли по очереди на гитаре, болтали о том о сем и о ничем.

Есимуда (так звали японца), театрально дурачась и ужимничая, снимал маски одну за другой: у него были маски для дома, для спорта, для работы, для любви, для прогулок с собакой, для похода в кино, для задумчивости, для лени, для хитрости, для отчаяния, для смерти (эта почти не отличалась от «для любви»), для сна, для завтрака...

Пока Есимуда складывал маски, похожие на листочки нори, в карманы, Ваня хохотал и наигрывал какой-то забойный мотив. Вдруг он спросил (они уже совсем подружились):

— А на толчке ты тоже в маске сидишь?

— Нет, — сказал Есимуда, помрачнев. — От напряжения порваться может.

— Так ты без маски только на толчке бываешь?

Есимуда задумался, что-то считая в уме, и сказал:

— Да. — Его узкие глаза как будто что-то затаили.

— А можешь показать? — попросил Ваня.

— Ты наверно уверен?

— Ага. — Ваня опять приложился к саке.

Есимуда поддел сразу несколько масок и содрал их — показалась огромная рыба голова с жабрами, жирными и что-то хватающими губами, выпученными глазами, и несметными усищами на месте бровей.

Ваня громко проглотил слюну и стал молиться постБогу.

— Вы рыб не едите точно? — спросил Есимуда как-то взволнованно.

— Т-т-точно.

— А то это может быть опасно с людьми. Многие наши едят брат брата — это большая проблема этики... Я все могу объясню! — Есимуда почесал выпиравший за ухом плавник и закинул ногу на ногу, обхватив руками колено. — Все это вышло сейчас после Хирошимы. Японский народ — целиком весь — понял, что мир настолько больно и отстой (я правильно говорю? отстой?), что он тут просто не надо существовать. Утро-вставание был такой силен, что японский народ — целиком весь —

мог прямо сейчас уйти в ниепан, то есть нирвану. Но один аббат из Кинакуку-дзи сказал: «Дайте терпение! Для других людей только странно будет, если целой страны без людей станет на середине войны. Тогда они не смогут сами страдать, чтобы тоже уйти. Надо доиграем кусок спектакля!» А японский народ начали вести разговор с нами — Рыбами. Японцы предлагали землю, язык, культуру и просили делать вид, что мы — это они. Многие Рыбы согласились, хотя бы потому, что они были немые, а попробовать поговорить и с культурой — очень интересно... Для того чтобы уйти самураем, благородным японцам пришлось экономику вырастить, чтобы сделать операции миллионов рыб по пришиванию ног и каждому сделать маски. Это был долгая история и закончился всего двадцать лет назад. Но сегодня теперь уже все японцы Рыбы.

Ваня сидел и ничего не понимал, ему казалось, что он умирает: перед воображением мелькали его постдрузья и постблизкие, потом мелькали настоящие друзья и близкие, затем появлялись персонажи мультфильмов, философы, писатели, музыканты, многорукие женщины пускались в фрактальный пляс — и вот уже Будда и Христос раскрывали ему свои объятия...

То, что выслушал Ваня, было такой бессовестной дичью, что он вынужден был вернуться назад и спросить:

— А твоя бабушка? Откуда она знает Достоевского?

— Семь лет она посидела в китовой тюрьме в Приморье.

Вода по непитерскому каналу тихонько ползла, отражая фонари.

— И как вам нравится играть японцев? — спросил Ваня.

— Оказалось грустно.

Ваня нервно нашарил несигарету и закурил.

— Вы не курите? — спросил он Есимуду.

— Жабры вредно, — ответил тот.

Они промолчали сколько-то прилично. Дым шумно выдыхался и зависал в воздухе.

— И что — никакого мира совсем-совсем нет?

— Отсутствует. — Есимуда развел плечами. — Но нашему Рыбному народу и хорошо. Мы-то только играем в людей. А у вас все по-серьезному.

Закашлявшись, Ваня завязал несигарету бантиком и бросил. Он встал.

— Вы не расстраивайтесь, — сказал Есимуда, прилаживая маску для сочувствия.

— Спасибо за sake, — ответил Ваня.

Он пошел — на прямых, налитых металлом ногах. Есимуда догнал его и вручил забытую гитару: Ваня поблагодарил с улыбкой, пожал руку, дождался, как тот уйдет, достал негитару из чехла и в пять ударов расхреначил ее о перила. Ошметок с усиком струны обиженно полз по каналу.

Солнце всходило куда-то в несуществующие дали — первый раз в Японии Ваня видел рассвет. Небо притворялось рыжим и розовым, нежным и ребячливым — с каким-то жизнеутверждающим кокетством, но Ваня уже знал, что это обман. Он шел по неутру, по неулицам, мимо нелюдей, мимо немагазинов; какой-то несуществующий мудака насвистывал на флейте мелодию, а Ваня прятал в несуществующие карманы свои кулаки.

Дошел до Лериного дома, поднялся на лифте, вошел (хоть это и постлюбовь, но все же были у него ключи). Не слишком-то запариваясь ходьбой на цыпочках, Ваня вошел в комнату, где Лера спала: на разложенном диване, бочком, закинув ножку с щиколоткой на одну из пяти подушек, вычерченная красным мазком рассвета. Ваня грубо перевернул ее на спину, подцепил под челюстью — и содрал с нее красивую армянскую маску. Под ней оказалась каракатица.

Ваня больно пнул стену ногой, запрыгал, заматерился, заплакал, упал — да так и остался на полу.

— И что вам в океане-то не жилось!! — крикнул он в потолок со слезами.

Лера проснулась, пощупала лицо, поняла, что осталась без маски, села и укутала в одеяло свою голоту.

— А ты думаешь, в океане перенаселения не бывает! — сказала она, фыркая и смешно дрыгая своими щупальцами. — Это все как посмотреть.

— А я тебе чуть предложение не сделал! — Ваня бессмысленно и медленно стучал кулаками в пол, как умственно отсталый барабанщик.

— Какое предложение? Доширака предложение? Не колоти в пол, соседей разбудишь!

— Да какая, хрен, разница, если ничего нет??

— Ванечка, прекрати. Мы все же еще играем в людей.

Кулаки как-то сами по себе умолкли. Ваня недоуменно уставился на женщину с головой каракатицы. Подобие улыбки встало на ее нелице.

— В смысле — «мы»?

— А ты что думаешь — ты настоящий? Думаешь, твоя искренность не маска?? — Она ехидно растянула плавники у рта. — Думаешь, когда человек не знает, что играет, — он не играет? Ха-ха-ха! Это все как посмотреть...

Ваня молчал. А развеселившаяся Лера встала в своем одеяле, похожая на шаурму с морепродуктами. Она пошла на кухню.

— Чай будешь? — спросила она оттуда.

— Нет, — ответил Ваня.

Молча собрал все силы. Молча встал. Молча ушел.

Бесмысленно волоча ноги, он брел по улицам Токио, думал, почему он не может сразу оказаться дома, если его все равно нет, глядел на стеклотару домов, на расходившееся уже солнышко, на жаркую душащую погоду, смотрел в маски, спешащие на работу. Но смотрел как будто бы сверху, отлично видя физиологию мегаполиса, где сам он был только несмысленной точкой среди тысяч и тысяч более предприимчивых точек...

— Да на тебе лица нет! — сказал Витек, случайно встреченный (как бы подсунутый) на улице. Недруг.

Ваня грубо отмахнулся от его приветов с философией и пошел домой. Не было ничего интересного, кроме усталости и сна. Он вдруг понял: ни модерна, ни постмодерна, ни уж тем более метамодерна никогда и не бывало. Был только кулек дурацких слов.

Прошел по виадуку, поднялся на пятнадцатый этаж, переступил спящих на полу хозяев, дошел до ванной. Хотел умыться, но засмотрелся на свою усталую рожу: черно-рыжий причесон (как у японца), надменный лоб, аскетические скулы, полное отсутствие улыбки. Не зная, что делает, он подцепил свое лицо — у косточек, прямо под челюстью...

Под его лицом не прятался морепродукт, какая-нибудь свинья или птица. Лицо было странное, как у человека, который долго постился: как бы восточное, а как бы и выбеленное: оттянутые сережками уши, узкие японские глазки, точка между бровей, немного сонное и удивительно покойное выражение — вообще говоря, это было лицо Будды.

— Всего лишь... — пробормотал Ваня устало и смыл маску в унитаз.

Завтра он купил билеты обратно в Москву.